

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Жорж Дюруа получил у кассирши ресторана сдачу с пяти франков и направился к выходу.

Статный от природы и к тому же сохранивший унтер-офицерскую выправку, он приосанился и, привычным молодецкатым жестом закрутив усы, охватил запоздавших посетителей тем зорким взглядом, каким красавец-мужчина, точно ястреб, высматривает добычу.

Женщины подняли на него глаза; это были три молоденькие работницы, учительница музыки, средних лет, небрежно причесанная, неряшливо одетая, в запыленной шляпке, в криво сидевшем на ней платье, и две мещанки с мужьями — завсегда-таи этой дешевой харчевни.

Он постоял с минуту на тротуаре, размышляя о том, как быть дальше. Сегодня двадцать восьмое июня; до первого числа у него остается всего-навсего три франка сорок сантимов. Это значит: два обеда, но никаких завтраков, или два завтрака, но никаких обедов, — на выбор. Так как завтрак стоит франк и десять сантимов, а обед — полтора франка, то, отказавшись от обедов, он выгадает франк двадцать сантимов; стало быть, рассчитал он,

можно будет еще два раза поужинать хлебом с колбасой и выпить две кружки пива на бульваре. А это его самый большой расход и самое большое удовольствие, которое он позволяет себе по вечерам. Он двинулся по улице Нотр-Дам-де-Лорет.

Шагал он так же, как в те времена, когда на нем был гусарский мундир: выпятив грудь и слегка расставляя ноги, будто только что слез с коня. Он бесцеремонно протискивался в толпе, заполнившей улицу: задевал прохожих плечом, толкался, никому не уступал дорогу. Сдвинув поношенный цилиндр чуть-чуть набок и постукивая каблуками, он шел с высокомерным видом бравого солдата, очутившегося среди штатских, который презирает решительно все: и людей, и дома — весь город.

Даже в этом дешевом, купленном за шестьдесят франков костюме ему удавалось сохранять известную элегантность — пошловатую, бьющую в глаза, но все же элегантность. Высокий рост, хорошая фигура, вьющиеся русые с рыжеватым отливом волосы, расчесанные на прямой пробор, закрученные усы, словно пенившиеся на губе, светло-голубые глаза с буравчиками зрачков — все в нем напоминало соблазителя из бульварного романа.

Был один из тех летних вечеров, когда в Париже не хватает воздуха. Город, жаркий, как парильня, казалось, задыхался и истекал потом. Гранитные пасти сточных труб распространяли зловоние; из подвальных этажей, из низких кухонных окон неся отвратительный запах помоев и прокисшего соуса.

Швейцары, сняв пиджаки, верхом на соломенных стульях покуривали у ворот; мимо них, со шляпами в руках, еле передвигая ноги, брели прохожие.

Дойдя до бульвара, Жорж Дюруа снова остановился в нерешительности. Его тянуло на Елисейские Поля, в Булонский лес — подышать среди деревьев свежим воздухом. Но он испытывал и другое желание — желание встречи с женщиной.

Как она произойдет? Этого он не знал, но он ждал ее вот уже три месяца, каждый день, каждый вечер. Впрочем, благодаря счастливой наружности и галантному обхождению ему то там, то здесь случалось урвать немножко любви, но он надеялся на нечто большее и лучшее.

В карманах у него пусто, а кровь между тем играла, и он распялялся от каждого прикосновения уличных женщин, шептавших на углах: «Пойдем со мной, красавчик!» — но не смел за ними идти, так как заплатить ему было нечем; притом он все ждал чего-то иного, иных, менее доступных поцелуев.

И все же он любил посещать места, где кишат девицы легкого поведения, — их балы, рестораны, улицы; любил толкаться среди них, заговаривать с ними, обращаться к ним на «ты», дышать резким запахом их духов, ощущать их близость. Как-никак, это тоже женщины, и женщины, созданные для любви. Он отнюдь не питал к ним отвращения, свойственного семьянину.

Он пошел по направлению к церкви Мадлен и растворился в изнемогавшем от жары людском

потоке. Большие, захватившие часть тротуара, переполненные кафе выставляли своих посетителей напоказ, заливая их ослепительно-ярким светом витрин. Перед посетителями на четырехугольных и круглых столиках стояли бокалы с напитками — красными, желтыми, зелеными, коричневыми, всевозможных оттенков, а в графинах сверкали огромные прозрачные цилиндрические куски льда, охлаждавшие прекрасную чистую воду.

Дюруа замедлил шаг: у него пересохло в горле.

Жгучая жажда, жажда, какую испытывают лишь в душный летний вечер, томила его, и он вызывал в себе восхитительное ощущение холодного пива, льющегося в гортань. Но если выпить сегодня хотя бы две кружки, то прощай скудный завтракный ужин, а он слишком хорошо знал часы голода, неизбежно связанные с концом месяца.

«Потерплю до десяти, а там выпью кружку в Американском кафе, — решил он. — А, черт, как, однако ж, хочется пить!» Он смотрел на всех этих людей, сидевших за столиками и утолявших жажду, на всех этих людей, которые могли пить сколько угодно. Он проходил мимо кафе, окидывая посетителей насмешливым и дерзким взглядом и определяя на глаз — по выражению лица, по одежде, — сколько у каждого из них должно быть с собой денег. И в нем поднималась злоба на этих расположившихся со всеми удобствами господ. Поройся у них в карманах — найдешь и золотые, и серебряные, и медные монеты. В среднем у каждого должно быть не меньше двух луидоров; в любом кафе

сто человек во всяком случае наберется; два луидора помножить на сто — это четыре тысячи франков! «Сволочь!» — проворчал он, все так же изящно покачивая станом. Попадись бывшему унтер-офицеру кто-нибудь из них ночью в темном переулке, — честное слово, он без зазрения совести свернул бы ему шею, как это он во время маневров проделывал с деревенскими курами.

Дюруа невольно пришли на память два года, которые он провел в Африке, в захолустных крепостях на юге Алжира, где ему часто удавалось обирать до нитки арабов. Веселая и жестокая улыбка скользнула по его губам при воспоминании об одной проделке: трем арабам из племени Улед-Алан она стоила жизни, зато он и его товарищи раздобыли двадцать кур, двух баранов, золото, и при всем том целых полгода им было над чем смеяться.

Виновных не нашли, да их и не так уж усердно искали, — ведь араба все еще принято считать чем-то вроде законной добычи солдата.

В Париже — не то. Здесь уж не пограбишь в свое удовольствие — с саблей на боку и с револьвером в руке, на свободе, вдали от гражданского правосудия. Дюруа почувствовал, как все инстинкты унтер-офицера, развратившегося в покоренной стране, разом заговорили в нем. Право, это были счастливые годы. Как жаль, что он не остался в пустыне! Но он полагал, что здесь ему будет лучше. А вышло... Вышло черт знает что!

Точно желая убедиться, как сухо у него во рту, он, слегка прищелкнув, провел языком по нёбу.

Толпа скользила вокруг него, истомленная, вялая, а он, задевая встречных плечом и насвистывая веселые песенки, думал все о том же: «Скоты! И ведь у каждого из этих болванов водятся деньги!» Мужчины, которых он толкал, огрызались, женщины бросали ему вслед: «Нахал!»

Он прошел мимо Водевиля и остановился против Американского кафе, подумывая, не выпить ли ему пива, — до того мучила его жажда. Но прежде чем на это решиться, он взглянул на уличные часы с освещенным циферблатом. Было четверть десятого. Он знал себя: как только перед ним поставят кружку с пивом, он мигом осушит ее до дна. А что он будет делать до одиннадцати?

«Пройдусь до церкви Мадлен, — сказал он себе, — и не спеша двинусь обратно».

На углу площади Оперы он столкнулся с толстым молодым человеком, которого он где-то как будто видел.

Он пошел за ним, роясь в своих воспоминаниях и повторяя вполголоса:

— Черт возьми, где же я встречался с этим субъектом?

Тщетно напрягал он мысль, как вдруг память его сотворила чудо, и этот же самый человек предстал перед ним менее толстым, более юным, одетым в гусарский мундир.

— Да ведь это Форестье! — вскрикнул Дюруа и, догнав его, хлопнул по плечу.

Тот обернулся, посмотрел на него и спросил:

— Что вам угодно, сударь?

Дюруа засмеялся:

— Не узнаешь?

— Нет.

— Жорж Дюруа, из шестого гусарского.

Форестье протянул ему обе руки:

— А, дружище! Как поживаешь?

— Превосходно, а ты?

— Я, брат, так себе. Вообрази, грудь у меня стала точно из папье-маше, и кашляю я шесть месяцев в году, — все это последствия бронхита, который я схватил четыре года назад в Буживале, как только вернулся во Францию.

— Вот оно что! А вид у тебя здоровый.

Форестье, взяв старого товарища под руку, заговорил о своей болезни, о диагнозах и советах врачей, о том, как трудно ему, такому занятому, следовать их указаниям. Ему предписано провести зиму на юге, но разве это возможно? Он женат, он журналист, он занимает прекрасное положение.

— Я заведу отделом политики во «Французской жизни», помещаю в «Спасении» отчеты о заседаниях сената и время от времени даю литературную хронику в «Планету». Как видишь, я стал на ноги.

Дюруа с удивлением смотрел на него. Форестье сильно изменился, стал вполне зрелым человеком. Походка, манера держаться, костюм, брюшко — все обличало в нем преуспевающего, самоуверенного господина, любящего плотно покушать. А прежде это был худой, тонкий

и стройный юноша, ветрогон, забияка, непоседа, горлан. За три года Париж сделал из него совсем другого человека — степенного, тучного, с седью на висках, хотя ему было не больше двадцати семи лет.

— Ты куда направляешься? — спросил Форестье.

— Никуда, — ответил Дюруа, — просто гуляю перед сном.

— Что ж, может, проводишь меня в редакцию «Французской жизни»? Мне только просмотреть корректуру, а потом мы где-нибудь выпьем по кружке пива.

— Идет.

И с той непринужденностью, которая так легко дается бывшим одноклассникам и однополчанам, они пошли под руку.

— Что подельываешь? — спросил Форестье.

Дюруа пожал плечами:

— По правде сказать, околеваю с голоду. Когда кончился срок моей службы, я приехал сюда, чтобы... чтобы сделать карьеру, — вернее, мне просто захотелось пожить в Париже. Но вот уж полгода, как я служу в управлении Северной железной дороги и получаю всего-навсего полторы тысячи франков в год.

— Не густо, черт возьми, — промычал Форестье.

— Еще бы! Но скажи на милость, как мне выбиться? Я одинок, никого не знаю, обратиться не к кому. Дело не в нежелании, а в отсутствии возможностей.